

Д. П. МАКОВИЦКИЙ

УХОД ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Простая, естественная, трудовая жизнь в простых, естественных условиях составляла с молодых лет заветную мечту Толстого. Еще в крепостное время в Ясной Поляне он мечтал о том, чтобы стать крестьянским парнем Илюшкой («Утро помещика»); потом на Кавказе мечтал о том, чтобы приписаться в казаки и остаться там навсегда («Казаки»); потом в период школьных занятий с яснополянскими детьми мечтал о том, чтобы взять в Ясной Поляне надел земли и самому его обрабатывать («Воспоминания» В. С. Морозова, изд. «Посредник», М., 1917). После женитьбы мечтания пришлось оставить и высказывать их только в писаниях. Одна из любимых героинь Толстого, княжна Марья, мечтает о том, как она, подобно страннице Федосеюшке, пойдет странствовать в грубом рубище, с палочкой и котомочкой, «направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний». И Пьер Безухов, другой любимый герой Толстого, бродя по оставленной и опустошенной Москве, чувствует, что «и богатство, и власть, и жизнь, все то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, все это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить».

Со второй половины 70-х годов, когда резко изменилось направление мыслей и чувств Толстого, и то, что для него «было справа», «стало слева», и наоборот, мысль о перемене жизни стала все чаще и чаще приходиться ему. «Если бы я был один, — писал он Н. Н. Страхову в ноябре 1877 г.^{*}, — я бы не был монахом, я бы был юридическим, т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда». Но он не был один: у него была большая семья, с ним несогласная. И это обусловило трагизм всей его последующей жизни.

26 августа 1882 г. С. А. Толстая записывает в дневнике: «В первый раз Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете... Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его — о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас»^{**}.

С годами та барская обстановка, в которой застало Толстого его «новое рождение», становилась ему все более и более отвратительной. В семье он первые годы не встречал никакого сочувствия своему новому образу мыслей. И мысль об уходе из Ясной Поляны все чаще и чаще приходила ему в голову. Дневник Толстого 1884 г. содержит большое количество записей, проливающих свет на его тогдашнее душевное состояние и отношение к семье.

Жена «ненавидит» его (3 мая), и «это-то губит» его жизнь (5 мая), «это дерганье

447

души ужасно не только тяжело, больно, но трудно» (3 мая); «дома та же всеобщая смерть» (5 мая); его мучает «тупость, мертвенность души» и притом «дерзость, самоуверенность» жены (20 мая). Ему иногда кажется, что он «один несумасшедший» живет «в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими» (28 мая). Все разговоры с женой вызывают «все тот же бессмысленный отпор» (31 мая). Его мучает «дармоедство» и «безнравственная праздность» детей (4, 8 и 9 июня). 4 июня после разговора с старшим сыном, сделавшего ему «ужасно больно», ему захотелось «сейчас уйти» из Ясной Поляны. Его преследовали мысли: «На что я им нужен? на что все мои мученья? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего подобного этой боли сердца» (4 июня). На следующий день после разговора с женой, в котором она проявила «злобу и несправедливость», вновь мысли об уходе от семьи: «Я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце».

Наконец, 17 июня, после «ужасно тяжелого» разговора с женой, Толстой решил уйти от семьи. Но, вспомнив беременность и близкие роды жены, вернулся с полдороги в Тулу. Вернувшись, как бы предвидя будущее, Толстой записал в дневнике: «Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к гибели и к страданиям душевным ужасным» (18 июня). В тот же день, подводя итоги своей жизни за месяц, Толстой записывает: «Разрыв с женою уже нельзя сказать, что больше, но полный». 7 июля вторая запись в том же дневнике, обнаруживающая предвидение Толстым будущей своей семейной жизни. После истерической сцены жены он чувствует, что «безнадежно», и записывает: «Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей», и его задача представляется ему — «выучиться не тонуть с жерновом на шее».

В ночь с 11 на 12 июля Толстой «страдал ужасно», и опять решил уйти: уложил вещи и разбудил жену, но и на этот раз намерения своего не привел в исполнение. Проходят два дня, и он 14 июля записывает в дневнике: «Напрасно я не уехал. Кажется, этого не минуя», — предвидя то, что произошло двадцать шесть лет спустя.

Толстой не ушел, а остался в Ясной Поляне, в ненавистных и отвратительных ему условиях барской жизни, с непонимающей и осуждающей, а временами и ненавидящей его женой. Остался он потому, что считал, что уход его причинил бы тяжелое горе его жене, которая по-своему, как он думал, все-таки любила его. Как сказал он однажды Л. П. Никифорову, он боялся «переступить через кровь, через труп»*. Задачу свою он видел в том, чтобы в тех трудных условиях, в которые он был поставлен жизнью, исполнять дело любви, «бороться любовью» с женою, как записал он в дневнике 1 июля 1889 г. Со свойственной ему всю жизнь верой в человека, он все надеялся и мечтал о том, что рано или поздно эта его «борьба любовью» приведет его к победе: жена поймет его и приблизится к нему. Он верил, что «духовная сила всемогуща и может проснуться всякую минуту», как писал он дочери Марии Львовне 12 декабря 1894 г.

Но все-таки часто ему бывало грустно от той «грязной, подлой жизни», которую ему приходилось вести, чтобы «не нарушить любви» (дневник 16 июня 1890 г.). Ему хотелось «свободы» (дневник 25 июня 1890 г.). И нередко у него являлись сомнения в том, правильно ли он поступает? действительно ли он нужен жене, и уход его был бы для нее таким большим горем?

Об этих колебаниях Толстого свидетельствует целый ряд записей в его дневниках разных годов. Временами те или другие поступки жены, особенно ярко обнаруживая всю ее полную духовную отчужденность от него, заставляли его задумываться и пересматривать раз принятое решение. Таким поступком было в 1897—1898 гг. увлечение Софьи Андреевны С. И. Танеевым, представлявшееся Толстому «отвратительной гадостью», как писал он ей 1 февраля 1897 г. 8 июля того

448

же года он даже написал жене письмо о своем уходе, но намерения своего не выполнил и письма не передал. То же повторилось и летом 1898 г., когда Толстой беседовал о своем предполагаемом уходе с И. И. Горбуновым-Посадовым и о том же писал А. Эрнфельту 17 июля*.

Любимыми героями художественных произведений Толстого последнего периода являются странники, оставившие семью и удобства жизни. Таковы: Корней Васильев, Отец Сергей, Александр I («Посмертные записки старца Федора Кузьмича»). Думает об уходе от семьи и герой незаконченной драмы Толстого «И свет во тьме светит» Николай Иванович Сарынцов, в котором Толстой в значительной степени изображал самого себя.

Толстой надеялся, что выведут его из его положения правительственные преследования. Он не уставал жестоко обличать злодеяния правительства и правящих классов, не щадил и «священную особу» царя, надеясь, что рано или поздно они возьмутся за него. С полной откровенностью пишет он об этом в одной из своих самых сильных обличительных статей — «Не могу молчать», написанной в мае 1908 г. «...Откровенно признаюсь в этом, — писал он в этой статье, — надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которых я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений».

Но правительство Николая II продолжало следовать решению Александра III: «Я вовсе не намерен делать из него мученика и тем обратить на себя всеобщее негодование».

В июле 1909 г., когда Софья Андреевна настойчиво требовала от мужа передачи ей прав на его сочинения, перед ним опять встал вопрос об уходе. «Страшно хочется уйти, — записал он в дневнике 21 июля. — Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва, и во вред всем». И на другой день: «Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе».

В первую половину последнего года жизни Толстого ему все так же тяжела была барская обстановка яснополянской жизни и все так же страдал он от духовной чуждости жены. 12 апреля 1910 г. он записал в дневнике: «Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной, голодной смерти, избавиться себя и семью. Вчера жрут пятнадцать человек блины, человек 5—6 семейных людей бегают, еле поспевая готовить, разносить жранье. Мучительно стыдно, ужасно». И на другой день: «Проснулся в пять и все думал, как выйти, что сделать? И не знаю. Писать думал. И писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить с ней? Уйти? Понемногу изменять?... Кажется, одно последнее буду и могу делать. А все-таки тяжело».

К этим причинам, отравлявшим для него жизнь в Ясной Поляне, прибавилась еще третья: желание уединения и сосредоточения на своей внутренней жизни. 28 апреля он записывает в дневнике: «Хочется

одинокости, с людьми тяжело». То же повторяет в более решительных выражениях 21 октября: «Одинокости мучительно хочется».

Все эти причины рано или поздно неизбежно должны были привести Толстого к уходу из Ясной Поляны. Софья Андреевна своим поведением с 22 июня 1910 г. ускорила этот момент.

Началось с того, что Софья Андреевна, всегда с трудом переносившая отлучки Толстого из Ясной Поляны, в истерической форме стала требовать его немедленного возвращения от В. Г. Черткова, который, высланный из Тульской губернии, жил тогда под Москвой и к которому Толстой приехал 13 июня 1910 г. По возвращении Толстого в Ясную Поляну начались со стороны Софьи Андреевны домогательства получения его дневников, в которых, как она подозревала,

449

находились места, изображающие ее в дурном свете; а мысль о том, что будущее человечество будет думать, что она была плохой женой своего мужа, очень угнетала Софью Андреевну. Уступая ей, Толстой взял от А. Б. Гольденвейзера хранившиеся у него в сейфе свои дневники последних десяти лет и положил их на хранение в Государственный банк в Туле. Вслед за тем появилось со стороны Софьи Андреевны новое требование — совершенно не видеться с Чертковым; не видя иного средства успокоить жену, Толстой согласился и на это ее требование. Подозревая о существовании завещания Толстого об отказе от прав литературной собственности на его произведения, Софья Андреевна стала настойчиво требовать от него уничтожения этой бумаги. С существованием такого завещания, которое наносило столь чувствительный удар материальному благополучию ее и ее детей, некоторые из которых, несмотря на то, что при разделе они получили довольно значительные суммы, часто обращались к ней с просьбой о деньгах, — с существованием такого завещания Софья Андреевна никак не могла примириться. Начались слезы, истерики, убеганье из дома, симуляция самоубийства, инсценировка отъезда, подглядыванья, подслушиванья и проч. Для Толстого все это было не только мучительно тяжело, но и ставило перед ним все тот же роковой вопрос: следует ли ему при таких условиях оставаться в Ясной Поляне?

Все более и более росло и усиливалось в Толстом мучительное чувство стыда, сознание униженности своего положения в Ясной Поляне. Еще 25 июня, через два дня после своего, вынужденного истериками жены, возвращения от Черткова, Толстой записывает в дневнике: «Как-то нехорошо на душе. Чего-то стыдно». 5 августа в «Дневнике для одного себя» он записывает: «Совестно, стыдно, комично и грустно мое воздержание от общения с Чертковым». И 8 августа: «Разделение с Чертковым все более и более постыдно». Затем 27 сентября: «Как комично то противоположение, в котором я живу, в котором, без ложной скромности, вынашиваю и высказываю самые важные, значительные мысли, и рядом с этим — борьба и участие в женских капризах, которым посвящаю большую часть времени».

Временами у Толстого проявлялось прежнее отношение к жене, и ему хотелось думать, «что и ее можно победить добром» (дневник 29 сентября), но чаще он находился в том состоянии, в котором ему ясна была ужасная истина: «Нельзя говорить с ней, потому что для нее не обязательна ни логика, ни правда, ни сказанные ею же слова, ни совесть — это ужасно. Не говоря уже о любви ко мне, которой нет и следа, ей не нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: чтобы люди думали, что я люблю ее. Вот это-то и ужасно» (дневник 15 сентября).

Мысль о необходимости ухода из Ясной Поляны все чаще и чаще приходила ему в голову. 6 августа он записывает в «Дневнике для одного себя»: «Думаю уехать, оставив письмо, и боюсь, хотя думаю, что ей было бы лучше». Затем 10 сентября: «Утром думал, что не выдержу и придется уехать от нее». 20 октября Толстой говорил приехавшему к нему старому знакомому крестьянину М. П. Новикову о возможности своего ухода из Ясной Поляны и переезда к нему, Новикову, в деревню Боровково в тридцати верстах от Тулы; и ночью, как записал он в «Дневнике для одного себя», «думал об отъезде». 23 октября «мысль о Новикове не покидает» Толстого. 24 октября он уже пишет М. П. Новикову письмо, касающееся подробностей его возможного переезда в деревню Боровково. 25 октября в «Дневнике для одного себя» Толстой записывает: «Все то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать... А подумаю уехать и об ее положении — и тоже не могу». 26 октября: «Все больше и больше тягочусь этой жизнью. Марья Александровна [Шмидт] не велит уезжать, да и мне совесть не дает. Терпеть ее, терпеть, не изменяя положения внешнего». В тот же день запись в дневнике: «Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших».

450

Нелегко было Толстому, который тридцать лет проповедывал, что «доброта побеждает все, а сама непобедима», что «против всего можно устоять, но не против доброты»; Толстому, который всем тем, кто обращался к нему в трудных семейных обстоятельствах, всегда советовал терпеть и не расходиться,

который всего только несколько месяцев тому назад поставил себе задачу «сознательно бороться с Соней любовью», — нелегко было ему решиться на уход от жены. Не говоря уже о жалости к ней и о страхе за нее, главная трудность состояла в том, что уйти это значило признать, что поставленная им себе задача не была им достигнута; что его «борьба любовью», его терпение, кротость, уступчивость пока не только не привели его к победе, но, напротив, вызывали со стороны жены все новые и новые требования и враждебное к нему отношение, доходившее до ненависти. Не легко было Толстому дойти до этого сознания, но вывод был неизбежен, и, не обманывая себя самого, нельзя было его не сделать. А обманывать себя Толстой не мог.

27 октября он уже пишет черновик письма жене о своем уходе и записывает в дневнике: «Гляжеть отношений все увеличивается», и в «Дневнике для одного себя»: «Ничего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребности предпринять».

И вот, в ночь с 27 на 28 октября, как записал Толстой в «Дневнике для одного себя», «произошел тот толчок, который заставил предпринять». В дневнике «толчок» этот описывается следующим образом: «Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услышал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запираю дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем, и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю, отчего, — это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяется дверь, и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне укладываться...»

В шестом часу утра 28 октября 1910 г. Толстой вместе с Д. П. Маковицким уехал из Ясной Поляны, оставив жене письмо.

Печатаемые нами воспоминания Душана Петровича Маковицкого являются драгоценнейшим материалом, проливающим свет на первые дни жизни Толстого после его ухода из Ясной Поляны. Д. П. Маковицкий был единственным постоянным свидетелем жизни Толстого в течение трех дней 28, 29 и 30 октября 1910 г., и потому сообщаемые им сведения являются особенно ценными. Нельзя не пожалеть, что воспоминания эти остались незаконченными. При чтении воспоминаний Маковицкого обращает на себя внимание то обстоятельство, что, покинув Ясную Поляну, Толстой, видимо, желает по-новому поставить свою жизнь. Он стремится к наибольшей простоте и старается обходиться без услуг посторонних.

Мы оставляем неприкосновенными некоторые неправильности в русском языке, встречающиеся у Маковицкого.

Выдержки из воспоминаний Маковицкого были опубликованы Н. С. Родионовым в комментариях к дневнику Толстого 1910 г. (Л. Н. Толстой, «Полное собрание сочинений. Юбилейное издание», т. 58, стр. 563—573).

Подлинник воспоминаний Д. П. Маковицкого хранится в Национальном музее в Праге. Это — шестнадцать листов машинописной копии, просмотренной и в нескольких местах исправленной автором. В четырех местах переписчицей оставлены пробелы. В Литературном музее имеется фотокопия рукописи.

Оригинал воспоминаний Маковицкого, повидимому, утрачен.

451

Лев Николаевич давно (в 1881, 1896 г.)¹ собирался уйти из дома от барской жизни. При мне — в прошлом 1909 г. Тогда Лев Николаевич собирался за границу и несколько раз спрашивал меня и бежавших за границу и вернувшихся в Россию беглых матросов, рабочих и других проходивших через границу о том, как перебирались через границу, — как пробираются без паспорта. Об этом самом узнать на границе просил и меня, когда я в 1909 г. ездил домой в Словацию.

О том, что хочет уйти из дома, Лев Николаевич говорил мне (и думаю, что всегда и Александре Львовне) этим летом, в другой половине сентября, в начале октября, когда верхами ездили. Около 10 октября Лев Николаевич мне сказал, что

хочет взять с собой Илью Васильевича². Тут я предложил себя, и Лев Николаевич сказал: «Пусть Саша³ решит». Дней 6 и 3 до ухода опять говорил, что уйдет. Дней 6 до ухода решил было следующим утром уехать, но поздно вечером отменил. Эти последние разы всегда намеревался уехать утром, тайком, к дочери Татьяне Львовне в Кочеты.

27-го октября мне ничего не говорил, а Александре Львовне — да. Я об этом не знал.

Тут 28-го октября утром в 3 часа, Лев Николаевич в халате, в туфлях на босые ноги, со свечой разбудил меня, лицо страдающее, взволнованное и решительное, сказал мне:

— Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать, самое нужное. Саша дня через 3 за нами приедет и привезет, что нужно.

Сказав это, Лев Николаевич ушел к себе наверх.

Я, во-первых, уложил свои вещи, а потом пошел наверх ко Льву Николаевичу, с ним встретился за дверями моей комнаты. Опять шел со свечей, уже одетый.

— Я вас ожидал, — сказал мне Лев Николаевич.

Слышно было в голосе, что я ему был нужен и опоздал. Лев Николаевич пошел будить Александру Львовну, а я поспешил в его кабинет укладывать его вещи. Белье и некоторые вещи сам себе приготовил. Скоро Лев Николаевич вернулся. Он ни ночью покоя не имеет, не выспится. Нервен. Пощупал ему пульс. Пульс — 100. Может что приключиться. Пришла Александра Львовна. Лев Николаевич и ее попросил помочь ему укладывать вещи, особенно рукописи.

Лев Николаевич был уже одет, и было уже написано письмо Софье Андреевне.

Лев Николаевич, поговорив с Александрой Львовной, рассказал ей, что его побудило сейчас уезжать и куда поедет; предположил — в Шамордино; если в другое место, то уведомит ее телеграммой на имя Черткова с подписью Т. Николаев. Лев Николаевич скоро вернулся наверх. Вещей, которые брал с собой Лев Николаевич, оказалось столько, что нужен был его большой чемодан, который Лев Николаевич не хотел брать, боясь разбудить Софью Андреевну. Между спальнями Льва Николаевича и Софьи Андреевны было три двери, которые Софья Андреевна на ночь отворяла, чтобы лучше слышать Льва Николаевича из своей комнаты. Все эти двери Лев Николаевич закрыл, чемодан без шума достал.

Вскоре за ним пришла Александра Львовна, и ей Лев Николаевич отдал спрятать рукописи. Лев Николаевич был встревожен, непокоен. Искал еще некоторые нужные ему вещи: записные книжки, перо,

452

* книгу П. П. Николаева, какую он как раз читал: «Понятие о божестве»⁴ и др. Вскоре сошел вниз и, переговорив с Александрой Львовной, ушел торопясь в кучерскую, которая была в некотором расстоянии от дома, будить кучера закладывать лошадей. Еще не было 5-ти утра. Ночь была темная, и Лев Николаевич заблудился, свернул с дорожки через яблочный сад, потерял шапку. Долго ее искал с электрическим фонарем и не нашел. И так без шапки дошел до кучерской, разбудил Адриана Павловича⁵.

Когда мы кончили укладывать вещи, оказалось их очень много: большой дорожный чемодан и еще большая связка — плед, пальто, корзинка. Александра Львовна, Варвара Михайловна⁶ и я, мы понесли их на конюшню, чтобы там садиться и ехать, а не от дома — из боязни разбудить Софью Андреевну.

Было сыро, грязно, мы едва несли тяжелые вещи. На полдороге встретили Льва Николаевича с фонариком. Он рассказал, как потерял шапку; у меня в кармане была другая его шапка. Дошли по грязи до каретного сарая, где кучер кончал запрягать; Лев Николаевич вернулся — помогал ему. Лев Николаевич торопил с отъездом. Уложили вещи. Лев Николаевич накинул на ватную поддевку армяк, простился с Александрой Львовной, Варварой Михайловной, и мы поехали на станцию Щекино. Кучер, по случаю грязи, предложил конюху с фонарем ехать впереди прямо на шоссе, но Лев Николаевич предпочел через деревню.

В некоторых избах уже светился огонь, топились печи. На верхнем конце деревни у Фили⁷ развязались поводы. Остановились. Я сошел с пролетки, отыскал конец повода и подал ему, и тут посмотрел накрыты ли у Льва Николаевича ноги. Лев Николаевич почти закричал на меня; тут вышли мужики из изб. Выехав из деревни на большак, Лев Николаевич, до сих пор молчавший, грустный, взволнованный, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны, и рассказал о толчке, побудившем его уехать: Софья Андреевна опять входила в его комнату, — что не мог заснуть, что решил уехать, боясь нанести ей оскорбление, что было бы ему невыносимо.**

Потом Лев Николаевич предложил вопрос: куда ехать? «Куда бы подальше уехать?» Я предложил в Бессарабию к московскому рабочему Гусарову⁸, который там живет с семьей на земле, там же Александри⁹. «Только туда долго ехать, — прибавил я, — не из-за расстояния, а из-за медленного хода поезда и сообщения». Лев Николаевич ничего не ответил. Лев Николаевич Гусарова и его семью хорошо знает и любит¹⁰.

По пути в Щекино голова у Льва Николаевича озябла, я надел ему вторую шапку поверх первой.

Лев Николаевич вспомнил, что в «Утренней Звезде» есть его письмо к священнику в ответом священника¹¹. Удивлялся, как это напечатали, — смело. Было бы хорошо оттуда перепечатать в газеты***.

Решили, что на станции Щекино я узнаю поезда и есть ли сообщение в Козельск. Лев Николаевич сказал, что поедет в Горбачево во втором, а дальше в третьем классе, и предложил уехать на Тулу и оттуда вернуться¹².

Приехав в Щекино, оказалось до отъезда поезда в Тулу 20 минут, в Горбачево — 1¹/₂ часа. Лев Николаевич вошел первым на станцию, я с вещами после, и он прямо спросил буфетчика: есть ли

453

сообщение в Горбачево на Козельск. То же самое спросил и в канцелярии дежурного. Лев Николаевич позабыл не выдавать, куда едем. Лев Николаевич потом еще спрашивал, когда еще идет поезд на Тулу, и предлагал нам в него сесть. Лев Николаевич, во-первых, хотел скрыть следы, но ведь в Туле его узнают и на обратном пути через Засеку, Щекино, много узнают, что в поезде едет Толстой, а

во-вторых, не хотелось долго ждать в Щекино, на станции, боясь, что может настигнуть его Софья Андреевна. Я отсоветовал ехать в Тулу, так как не успеем пересест в Туле. Я купил билеты в Горбачеве. Думал брать на другую станцию, но было неприятно лгать, да и казалось бесцельным, потому что предполагал, что удержать втайне местопребывание Льва Николаевича не удастся. Я перекладывал вещи, писал Булгакову¹³, Александре Львовне, вернул свое пальто, так как оказалось их много у Льва Николаевича, — я еще не знал, что уезжаем из Ясной навсегда, я думал — только на несколько недель. Когда подали сигнал, что поезд подходит, Лев Николаевич был в 400 шагах от вокзала, гуляя с мальчиком учеником. Я побежал ему сказать и предупредить, чтобы он не спешил, что поезд будет стоять четыре минуты. Лев Николаевич сказал:

— Мы вместе с мальчиком поедem.

Лев Николаевич сел в отдельном купе в середине вагона второго класса. Вынув подушку, я устроил Льва Николаевича, чтобы он прилег.

Когда Лев Николаевич уселся в вагоне и поезд тронулся, он чувствовал себя наверно обеспеченным, что Софья Андреевна не настигнет его, радостно сказал, как ему хорошо. Я ушел. Лев Николаевич оставался сидеть. Когда я через 1½ часа заглянул в купе, Лев Николаевич сидел. Спросил «Круг чтения» почитать. Его не оказалось, и было «На каждый день»¹⁴.

Лев Николаевич был молчалив, говорил мало, о чем — не помню, и был очень утомлен. Тревожна и утомительна была вчерашняя поездка наша верхом с Львом Николаевичем. Вчера, перед отъездом нашим я [говорил?] с ожидавшимися его двумя бабами, которые пришли просить на погорелое место или на бедность, когда он вышел, подавали ему удостоверения из волостной, но он, будучи чем-то расстроен, не поговорил и не подал им ничего, что почти никогда не делал, по крайней мере я не помню. Попали на просеку в молодом лесу, почти параллельно с Лихвинской дорогой, по эту сторону ее. Приехали к глубокому оврагу с очень крутыми краями. На замерзнувшей той земле лежал тонкий слой снега, было скользко. Я посоветовал Льву Николаевичу слезть с лошади, он послушал, что так редко бывает. Овраг был очень крутой, и я хотел провести каждую лошадь отдельно, но, боясь, что пока я буду проводить первую, Лев Николаевич не взялся бы за другую (Лев Николаевич не любил, когда ему служили), я взял повод обеих лошадей сразу, один в правую, другой в левую руку, растянув руки, чтобы лошади были дальше от меня, — если которая поскользнется, не сбита бы меня с ног. Так спустился и так перепрыгнул ручей. Тут Лев Николаевич тревожно вскрикнул, боясь, что какая-нибудь лошадь наскочит мне на ноги, потом с взмахом поднялся на другую сторону оврага. Тут долго ждал. Лев Николаевич, засучив за пояс полы свитки, придерживаясь осторожно за стволы деревьев и ветки кустов, спускался. Сошел к ручейку и сидя спустился, переполез по льду и на четвереньках выполз на берег, потом, подошедши к крутому подъему, хватаясь за ветки, поднимался, отдыхая подолгу, очень задыхался. Я отвернулся, чтобы Лев Николаевич не торопился. Желал ему помочь, но боялся его беспокоить,

454

наверно отказал бы. Когда вышел и подошел к лошади, тяжело дыша, я попросил Льва Николаевича отдышаться, сейчас не садиться, но Лев Николаевич сейчас же сел, перевалился сильно вперед (чего он никогда не делал, он удивительно стройно

садился) и поехал. В этот день проехали около 16 верст, как и всегда 16—18 с тех пор, как вернулись из Кочетов — от 24 сентября. Раньше Лев Николаевич делал концы в 11—14 верст, а в последнее время больше. Мне казалось, что, с одной стороны, он наслаждался красивой осенью, с другой — желал быть дольше на свободе вне дома. И Лев Николаевич уезжал из дома утомленным, не выспавшимся. Кроме того, он был последние 4 месяца в напряженном, нервном состоянии. Чаша терпеливого страдания переполнялась часто.

Когда я через 1½ часа вошел в купэ, Лев Николаевич сидел; он немного спал. Я согрел кофе, и выпили вместе. После Лев Николаевич сказал:

— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

Прошлые раза, когда Лев Николаевич ездил в Кочеты, он в вагоне диктовал или записывал. Этот раз нет, сидел задумавшись. Потом заговорил о том, о чем в пролетке:*

Доехали до Горбачева. Лев Николаевич еще в пролетке сказал, что от Горбачева поедет в третьем классе. Перенесли вещи на «Сухиничи-Козельск». Оказался поезд товарный, смешанный, с одним вагоном третьего класса, который был переполнен, и больше чем половина пассажиров курили. Некоторые, не находя места, с билетами третьего класса переходили в вагоны-теплушки.

— Как хорошо, свободно, — сказал Лев Николаевич, усаживаясь в вагоне.

Жалею, что я тогда ушел, не поговорив со Львом Николаевичем. Я не знал, что он уезжает навсегда, я не знал о письме, какое он оставил Софье Андреевне. Я думал, что Лев Николаевич уезжает на месяц от Софьи Андреевны в такое место, куда она за ним не поедет, пока в Шамордино, где не скоро отыщут его, а оттуда — дальше. Знай я, что он совсем уезжает, я настаивал бы на поездке в Бессарабию или за границу.

Скрыться надолго нельзя было, но мы хотели 2, 3 дня выгадать, чтобы Софья Андреевна не настигла нас, пока не выедем за границу и там опять в глухое место, куда Софья Андреевна не поедет.

Вещи внесли в вагон, и Лев Николаевич сел посередине вагона. Я, не сказав ему ничего, боясь, что он не согласится, пошел хлопотать, чтобы из-за переполненности пассажиров прицепили бы еще один вагон третьего класса. Я попал к начальнику вокзала Московско-Курской железной дороги, сказав ему, что вагон переполнен, надо прицепить другой, что среди едущих находится Лев Николаевич Толстой. Тот меня направил к начальнику Смоленского вокзала. Найдя этого, повторил ему просьбу; он указал мне на дежурного, я сейчас попросил, чтобы он помог мне найти его, что начальник охотно сделал. Долго не удавалось найти дежурного, он был внутри вагона и глядел на Льва Николаевича, которого публика узнала. Он опять не был тот правый¹⁵, он отыскал второго дежурного, тоже в вагоне, глядевшего на Льва Николаевича. Я ему повторил просьбу. Он как-то неохотно и нерешительно сказал железнодорожному рабочему, чтобы он сказал обер-кондуктору распорядиться прицепить другой вагон третьего класса. Надо было действовать без ведома

455

Льва Николаевича, а то я боялся, он не захочет ради себя утруждать прицеплять вагон.

Чрез минут 6 паровоз провез вагон нашего поезда. Обер-кондуктор, вошедши контролировать билеты, объявил публике, что будет прицеплять другой вагон, все разместятся, а то многие стояли в вагоне и на площадках. Но раздался второй звонок, и через $1/2$ минуты третий, и вагон не прицепили. Я побежал к дежурному. Ответил, что лишнего вагона нет. Поезд тронулся; от кондуктора я узнал, что тот вагон, который было повезли для прицепки, нужен для перевозки станционных школьников.

Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне впервые пришлось ехать по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить лицо об угол приподнятой спинки, который как раз был против середины двери; его надо обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота; воздух пропитан табаком.

Я хотел подстлать Льву Николаевичу плед под сидение, — Лев Николаевич не позволил. Он в эту поездку особенно неохотно принимал услуги, которыми раньше пользовался, считая за домашний обиход.

Лев Николаевич вскоре вышел на переднюю площадку, я за ним и просил его перейти на заднюю. Лев Николаевич вернулся, теплее оделся в меховое пальто, в меховую шапку, зимние глубокие калоши и пошел на заднюю площадку, но тут стояло пять курильщиков, и Лев Николаевич опять вернулся на переднюю, где стояло только трое: баба с ребенком и мужик. Лев Николаевич приподнял воротник, оперся на свою палку с раскладным сиденьем и сел. Мороз мог быть 1—2 градуса. Через минут десять я приходил к нему спросить, не войдет ли в вагон, а то встречный ветер от движения поезда. Лев Николаевич ответил, что он ему не мешает, как на верховой езде. Лев Николаевич там просидел на палочке $3/4$ часа. Потом прилег на скамейку. Но еле лег, нахлынула толпа новых пассажиров, и остались стоять в продольном проходе, как раз против Льва Николаевича женщина с детьми. Лев Николаевич спустил ноги, хотел им дать место. И больше не лег и оставшиеся четыре часа просидел и простоял опять на передней площадке.

Я ходил в теплушку, но в них было грязно и сквозной ветер; окна, двери с обеих сторон теплушки открыты настежь. Как в них могут возить женщин и детей! Сколько их, особенно тех, которые сидят в задней половине, поплатятся здоровьем и жизнью. Очень убыточное учреждение. Следовало бы отменить.

Лев Николаевич рассказал мне, что [есть] село Монаенки, откуда женщины «монанки» артелями все работы делают. И живут более нравственно, чем деревенские, так как артели стыдятся.

Лев Николаевич разговорился с крестьянином 50-ти лет, напротив него сидящим, из Дудинщины, о его семье, хозяйстве, извозе, которым он занимается. Лев Николаевич спрашивал подробности этой работы. *сказал мне про него. Мужик бойкий, смело говорил про водку, чья она¹⁶, как у них производили экзекуцию за то, что лес рубили «до своей межи», и потом вышло так, что была признана эта «их межа», рассказывал с сердцем на барина Б.¹⁷ Тут вмешался в разговор землемер и изложил историю экзекуции иначе, и о Б. говорил,

что он был добрый человек. Мужик стоял на своем и смело отвергал землемера. Но этот тоже не уступал.

— Мы больше работаем вас, мужиков.

Лев Николаевич: — Это нельзя сравнить.

Потом, когда землемер стал оправдывать экзекуцию, выделение из общины, Лев Николаевич вступил с ним в разговор, сказав, что не надо крестьян принуждать и соблазнять выделяться из общин.

Мужик громко одобрял и поддакивал Льву Николаевичу, землемер оспаривал. Потом землемер сказал Льву Николаевичу:

— Я знал вашего братца Сергея Николаевича.

Лев Николаевич вступил с ним в разговор. Оказалось, что землемер был либеральных, научных взглядов, начитанный, умный, умеющий и любящий спорить из-за красного словца.

Землемер, когда спорил с крестьянином, все время защищал помещика. Когда же спорил с Львом Николаевичем, хотел отстаивать свои взгляды, и чтобы отстоять их, из-за спора спорил и готов был спорить бесконечно, а не из-за того, чтобы узнать правду в разговоре. Не было заметно, чтобы он хотел услышать более правильный взгляд Льва Николаевича и внять ему. (Такое было мое впечатление; может быть, я ошибался.)

Он перевел разговор с «единого налога», по Генри Джорджу, и насилия на Дарвина, на образование. Лев Николаевич сказал:

— Я не верю в бога, который сотворил мир, а который живет в сознании людей.

Лев Николаевич объяснил ему верную точку, с которой надо смотреть на эти вопросы, а потом, когда крестьянин перестал одобрять речи Льва Николаевича, громко прерывать его и разговаривать, с соседями и когда в вагоне все затихли и прислушивались, Лев Николаевич, отвечая землемеру, стал говорить, излагать для всех. Лев Николаевич был возбужден, привстал и так продолжал разговор, завладев вниманием всех в вагоне. Публика с обоих концов вагона подошла к среднему отделению, обступила и очень внимательно и тихо прислушивалась. Были крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты, два еврея, одна гимназистка, которая сначала прислушивалась и записывала, потом сама вступила в разговор в защиту науки, возражая Льву Николаевичу*.

Лев Николаевич горячился. Как ни тихи были слушатели, все-таки надо было напрягать голос. Я несколько раз хотел его попросить перестать, но некогда было вставить слова, возражения ему так и сыпались. Говорили больше часа.

Лев Николаевич просил открыть дверь вагона, потом, одевшись, вышел на площадку. Землемер и гимназистка пошли за ним с новыми возражениями: гимназистка — за полезность науки, указывая Льву Николаевичу на электрический фонарик, которым он себе посветил, ища рукавицу на полу вагона. Тут мы подъехали к Белеву, и они слезли.

Лев Николаевич тоже слез, пошел в буфет второго класса, где пообедал. Тут буфетчик и сидящая за столом компания, очевидно местных интеллигентов, узнала его. Буфетчик и «человек» (помощник буфетчика) внимательно, добродушно к

нему отнесли. Дверь с железным краем (с железной планкой) из буфета в кассу третьего класса страшно хлопала, Лев Николаевич за каждым, кто проходил

457

в дверь, и она должна была хлопнуть, страдальчески напрягал мышцы лица, готовясь точно принять удар, и побряхтывал*.

Вернувшись в вагон, Лев Николаевич уселся на свое место, против крестьянина дудинца, стал расспрашивать про дорогу в Оптину Пустынь и в Шамордино и про расстояние. Крестьянин, узнав, что Лев Николаевич едет в Оптину Пустынь, сказал:

— А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

Лев Николаевич ответил ему доброй улыбкой.

Рабочий назади вагона стал бойко играть на гармошке и подпевать. Пропел несколько песен. Лев Николаевич с удовольствием слушал и похваливал.

— Я нынче, — сказал крестьянин, — с моим приятелем говорил. Я редко езжу. В дороге народ шатается бездельно. Сколько человек находится в пути по железной дороге, как проводят время: куренье, семячки, гармонья... Я думаю, что там, где нет железной дороги, там люди меньше теряют время в пути, чем где есть железные дороги, потому что народ ездит без крайней надобности. Это приучает к безделью. Иное дело, когда человек идет пешком. Обратная сторона железной дороги. (Этим поездом ехали витебские рабочие мужики из Тобольска. Три дня провели в пути к железнодорожной станции и вот 15-й день едут по железной дороге).

Потом Лев Николаевич пожаловался на усталость, устал сидеть. Поезд очень медленно шел, 105 верст — 6 часов 25 минут. (Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Льва Николаевича).

В 4 часа 50 минут доехали до Козельска, Лев Николаевич вышел первым. Когда я с носильщиком снес вещи на вокзал, Лев Николаевич пришел сказать, что уже подрядил извозчиков в Оптину Пустынь, и повел нас, сам взяв одну корзинку, снес на бричку, нанятую под вещи. Поехали с ямщиком Федором Ильичем Новиковым на паре в пролетке, за нами другой ямщик с вещами. Дорога грязная. Проехав город, ямщики стали совещаться, ехать ли дорогой или лугами. Дорога была ужасная, неровная, и ямщики взяли с нее влево, через луга города Козельска; несколько раз приходилось проезжать канавы. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков. Лошади шли шагом. На одном месте ямщик стегнул лошадей, они рванули, страшно трянуло, Лев Николаевич застонал. Это проехали мы через глубочайшую канаву на дорогу и тут же на мост. Потом въехали на ограду, за которой монастырские земли, дорога тоже тяжелая, да еще все время приходилось нагибаться, сторониться от ветвей лозин очень низких, вследствие того, что выгонки старых обрубают. Ветви эти со стороны дороги обрезать — дня два работы в год (или проложить новую, более короткую, прямую дорогу).

Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь ямщика, какие старцы есть, и сказал мне, что пойдет к ним. Лев Николаевич спрашивал ямщика, в какой гостинице остановиться; он посоветовал у о. Михаила, там чисто.

458

Долго ждали, пока дозволился парома. Лев Николаевич поговорил несколько слов с паромщиком-монахом и заметил мне, что он из крестьян. Гостиник о. Михаил с рыжими, почти красными волосами, бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал:

— Как здесь хорошо!

И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне¹⁹. В телеграмме сообщил, что здоров, ночует в Оптиной Пустыни, и адрес: Подборки, Шамордино, и подписался — Т. Николаев. Адресовал: Черткову Саше. Сам вынес ее ямщику Федору, прося отправить, и подрядил его одного на завтра в Шамордино (нас свезти). Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь поставить самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число? В 10 часов лег. Не желая нарушать привычку Льва Николаевича спать одному в комнате, я сказал Льву Николаевичу, что пойду спать в другую комнату напротив в коридоре.

У Льва Николаевича вид не был особенно усталый. Теперь вечером, пища, больше обыкновенного торопился. Но за то днем не дорожил временем, как обыкновенно. Это мне бросилось в глаза. Весь день мысли не записывал. И в следующие два дня не дорожил временем (т. е. не пользовался им для работы в той мере, как дома привык). Еще поразило меня, что не позволил себе помочь (дома неохотно принимал услуги, но сегодня и следующие дни куда неохотнее и совсем нет). Говорил, что утром пойдет погулять и к старцу пойдет. Говорил, что здесь (в Шамордино) жила Александра Ильинична²⁰ и что ездил к ней несколько раз²¹. Искал подставку для снимания сапог — не оказалось. Я попросил позволить снять ему сапоги.

— Я хочу сам себе служить, а вы высказываете.

И сам с трудом снял сапоги. Еще сказал: чем менее бы служили ему, тем проще жить. Добавил:

— Хочу до крайности ввести простоту. И бережливость в расходовании денег.

Лев Николаевич всегда старался платить за все настоящую цену, что трудно определять, не любил недоплачивать и переплачивать. Ночь была беспокойная сначала от кошек, которые бегали по коридору, прыгали по мебели, стоявшей как раз у стены, за которой спал Лев Николаевич. Потом выходила в коридор выть женщина, у которой сегодня умер брат, монах-лавочник. Она же рано утром вошла к Льву Николаевичу просить поместить ее малюток и припала к ногам Льва Николаевича, что Льву Николаевичу всегда было тяжело.

Из комнаты вышел в 7-м часу утра 29-го октября. В коридоре встретил А. П. Сергеенко²², приехавшего рассказать о Софье Андреевне, как отнеслась она к уходу Льва Николаевича, о том, что предполагают, где Лев Николаевич находится, разузнав на железной дороге, куда брали билеты, что по распоряжению губернатора будет полиция, сыщики следить за дальнейшим путем Льва Николаевича, что прибегнут к губернатору, и по его распоряжению Льва Николаевича разыскивала полиция.

Потом Лев Николаевич стал диктовать Сергеенко статью против «Смертной казни». Чуковский затеял ряд *, просил Льва Николаевича ответ²³. Действительное средство²⁴. Заключительные слова этой последней статьи Льва Николаевича такие: «И потому, если мы точно хотим уничтожить заблуждение смертной казни,

459

и главное, если имеем то знание, которое уничтожает это заблуждение, то давайте же будем, несмотря ни на какие угрозы, лишения и страдания, сообщать людям эти знания, потому что это единственно действительное средство борьбы.»

К А. П. Сергеенко Лев Николаевич был очень внимателен.

А. П. Сергеенко спросил:

— Монастырская обстановка вам не противна?

— Напротив, приятна, — ответил Лев Николаевич.

На вопрос: как спал? Лев Николаевич ответил:

— Плохо, нервы возбуждены.

В Оптиной Пустыни Лев Николаевич был очень спокоен и не был против там остаться. Алексею Петровичу он сказал, что к старцам не пойдет. Оставив Алексею Петровичу переписать статью и записать данные о вдове просительнице и вручить ей письмо Льва Николаевича к его родне²⁵, которую просил помочь ей, Лев Николаевич пошел гулять. Когда выходил из комнаты, сказал:

— Как хорошо, что не надо прятать, ничего замыкать²⁶.

Лев Николаевич ходил гулять к скиту. Подошел к его юго-западному углу, прошел вдоль его южной стены (мне так сказал рабочий, слышавший от товарищей) и пошел в лес.

Вернувшись, продолжал разговаривать с А. П. Сергеенко* и потом пил кофе. Потом написал письмо Александре Львовне²⁷, кажется, и Черткову²⁸ и, может быть, еще кому-нибудь писал²⁹, я в это время ездил в город Козельск. В 12-м часу Лев Николаевич опять ушел к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до св. ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился до св. ворот, потом пошел и завернул за башню к скиту. О. Пахом стоял у ворот своей гостиницы, он услышал, что Лев Николаевич в Оптиной Пустыни, вышел, чтобы его увидеть. О. Пахом метелкой подметал; увидев Льва Николаевича, догадался, что это он. Он ему поклонился. Лев Николаевич ответил ему поклоном и подошел к нему, спросил его:

— Это что за здание?

— Гостиница.

— Как будто я тут останавливался. Кто гостиник?

— Я, отец Пахом грешный. А это вы, ваше сиятельство?

— Я — Толстой Лев Николаевич**. Вот я иду к о. Иосифу, старцу, и боюсь его беспокоить, говорят, он болен.

— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.

— Где вы раньше служили? — Лев Николаевич догадался, что он из солдат, простой, неграмотный монах.

Он назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.

— А, знаю, — сказал Лев Николаевич. — До свидания, брат. Извините, что так называю; я теперь всех так называю. Мы все братья у одного царя.

В руках у него была палка с раскладным сидением, и он отправился к о. Иосифу.

Рассказывал о. Пахом это все так проникновенно, — видно, что этот разговор со Львом Николаевичем доставил ему большое удовольствие. Рассказывал, что Лев Николаевич говорил с ним так ласково и сердечно и произвел на него сильное впечатление.

460

Расспрашивая о. Пахома об этом, игуменя одного девичьего монастыря сделала ему замечание, почему он сам не провел его к о. Иосифу; он ответил, что хотел, но боялся быть навязчивым.

Лев Николаевич подошел к скиту. Пришел к св. воротам, повернул вправо в лес.

Вернувшись, вошел ко мне и сказал, где гулял. — К старцам сам не пойду. Если бы они сами позвали, пошел бы.

У Льва Николаевича видно было сильное желание побеседовать со старцами. Вторую прогулку Лев Николаевич утром два раза никогда не гулял; я объясняю себе намерением посетить их. Лев Николаевич в это же утро сказал знакомому монаху о. Василию, что приехал отдохнуть в Оптину, а не удастся, так где-нибудь в другом месте пожить. А на следующий день сказал сестре Марии Николаевне, монахине, что он остался бы в скиту в Оптиной жить и послушание нес бы самое трудное, только бы не заставляли его в церковь ходить.

По-моему, — Лев Николаевич желал видеть отшельников — старцев, не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о боге, о душе, об отшельничестве, видеть их жизнь и узнать условия, на каких можно жить при монастыре. (О каком-нибудь искании выхода из своего положения отлученности от церкви, как предполагали церковники, не могло быть и речи)*.

В час пообедали; Льву Николаевичу показались очень вкусны монастырские щи, хорошо сваренная гречневая каша с подсолнечным маслом; очень много ее съел. Когда Лев Николаевич уходил, зашел к о. Михаилу в комнатку.

— Что я вам должен?

— По усердию.

— Трех рублей довольно?

— Да, мне дорого, что такой человек, как вы, посетили нас. Дайте мне вашу карточку.

— Да какой же человек — отверженный. Карточки у меня нет, я вам пришлю.

— Прошу вас, распишитесь.

И Лев Николаевич расписался в книге посетителей, заметив: «благодарит за прием».

В три часа выехали в Шамардино. Лев Николаевич вперед пешком, это у него обычай такой был, когда уезжал, где гостил, уходил...³³

¹ Д. П. Маковицкий ошибается в хронологии неосуществленных уходов Толстого из Ясной Поляны. Первые две попытки ухода относятся к 1884 (а не 1881 г.). 1896 г. упомянут также ошибочно: очевидно, Маковицкий имел в виду известное письмо Толстого к Софье Андреевне от 8 июля 1897 г. о его (не приведенном в исполнение) решении уйти из Ясной Поляны.

² Илья Васильевич Сидорков (р. 1858 г.) — старый слуга в доме Толстых, крестьянин деревни Перевлес, Рязанской губернии. В настоящее время пенсионер.

³ Александра Львовна Толстая.

⁴ Н и к о л а е в П. П., Понятие о боге как совершенной основе жизни, 2 тома, Женева, 1907, 1910.

⁵ Адриан Павлович Елисеев — кучер у Толстых, впоследствии служащий яснополянского музея-усадьбы.

⁶ Варвара Михайловна Феокритова (р. 1876 г.) — подруга Александры Львовны Толстой, переписчица Софьи Андреевны.

⁷ Филипп Петрович Борисов (1875—1918) — конюх у Толстых, крестьянин Ясной Поляны.

461

⁶ Иван Гусаров — московский крестьянин, близкий к Толстому по взглядам, жил в екатеринославской общине Н. А. Шейермана. Был у Толстого в первый раз 26 декабря 1907 г.

⁹ Николай Николаевич Александров — единомышленник Толстого, живший земледельческим трудом в Бессарабской губернии.

¹⁰ На предложение Маковицкого поехать к Гусарову или к Александры Толстой промолчал потому, что он не желал ехать ни в какую толстовскую колонию, а просто в избу к мужику. См. «Воспоминания» Е. В. Оболенской, стр. 325.

¹¹ В журнале «Утренняя Звезда» в 1910 г. письма Толстого к священнику не появлялось. Вероятно, Толстой в № 42 этого журнала (от 15 октября 1910 г.) прочитал свое письмо к К. А. Клишевскому от 8 февраля 1910 г. о догмате искушения.

¹² У Толстого явилась мысль поехать сначала в Тулу, а уже оттуда — в противоположном направлении в Горбачево для того, чтобы Софья Андреевна не могла догадаться, куда он поехал.

¹³ Валентин Федорович Булгаков (р. 1886 г.) — секретарь Толстого в 1910 г.

¹⁴ «На каждый день» — систематически подобраный сборник изречений на все дни года, составившийся Толстым в 1907—1910 гг. При жизни Толстого был напечатан лишь частично («Январь», «Февраль», «Июнь», «Июль», «Август» и «Сентябрь» месяцы). Полностью напечатан впервые в 43 и 44 томах юбилейного издания «Полного собрания сочинений» Толстого.

¹⁵ «Не был тот правый» — значит: не имел права исполнить просьбу Маковицкого о прицепке вагона.

¹⁶ «Говорил про водку, чья она»: говорил о продаже водки правительством Николая II, установившим «казенную продажу напитков».

¹⁷ «Барин Б.» — редакции неизвестен.

¹⁸ Воспоминания гимназистки Т. Т а м а н с к о й о встрече с Толстым в вагоне были напечатаны в № 266 «Голоса Москвы» от 18 ноября 1910 г. под заглавием «На пути в Козельск».

¹⁹ Письмо Толстого к Александре Львовне из Оптиной Пустыни от 28 октября 1910 г. напечатано ею в воспоминаниях «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого» — «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 4, изд. «Кооперативного т-ва изучения и распространения творений Л. Н. Толстого», М., 1923, стр. 142—143.

²⁰ Александра Ильинична Остен-Сакен (1797—1841) — родная тетка Толстого, сестра его отца. Была замужем за остзейским бароном Карлом Ивановичем Остен-Сакен (1797—1855).

²¹ Не имеется никаких сведений о том, чтобы Толстой «несколько раз» ездил в Оптину Пустынь к А. И. Остен-Сакен. Известно лишь, что Лев Николаевич вместе с братьями и, вероятно, другой теткой, Пелагеей Ильиничной Юшковой, ездил в Оптину Пустынь на похороны Александры Ильиничны. Ему принадлежит надгробное стихотворение, высеченное на памятнике Александры Ильиничны, находящемся теперь на погосте Кочаки близ Ясной Поляны, где находятся могилы семьи Толстых. (Было напечатано в «Душеполезном Чтении» 1911, № 1, стр. 21).

²² Алексей Петрович Сергеев (р. 1886 г.) — сын литератора Петра Алексеевича Сергеев (1854—1930), в то время секретарь В. Г. Черткова. А. П. Сергеев был послан в Оптину Пустынь Чертковым для того, чтобы рассказать Толстому все, происшедшее в Ясной Поляне после его ухода.

²³ Литератор Корней Иванович Чуковский в письме от 24 октября 1910 г. просил Толстого прислать ему «хоть десять, хоть пять строчек о палачах и о смертной казни» для напечатания в газете «Речь».

²⁴ Ответ Толстого Чуковскому, начатый им в последние дни пребывания в Ясной Поляне и законченный в Оптиной Пустыни 29 октября 1910 г., был напечатан в № 312 газеты «Речь» 13 ноября 1910 г. под данным ему редакцией заглавием «Действительное средство».

²⁵ Толстой написал письмо жене своего старшего сына Сергея Львовича Марье Николаевне Толстой с просьбой помочь этой женщине, которую звали Дарья Григорьевна Окаимова. По словам М. Н. Толстой, Окаимова к ней не являлась.

²⁶ Полагаем, что Толстой употребил не слово «закрывать», а слово «запирать». Смысл его слов тот, что он чувствовал облегчение от того, что ему не было надобности запирать свой дневник от Софьи Андреевны, которая в последние дни приходила по ночам в его кабинет тайно читать его дневник и другие его бумаги.

²⁷ Письмо Толстого к Александре Львовне от 29 октября 1910 г. было напечатано полностью в статье А. С. Николеева «К последним дням жизни Л. Н. Толстого» — «Дела и дни», 1920, I, стр. 289—290. Это же письмо с пропуском 22 строк, относящихся к Софье Андреевне, было напечатано А. Л. Толстой в ее воспоминаниях «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого» (стр. 143—144).

462

²⁸ В. Г. Черткову Толстой писал: «Рад был видеть Алешу Сергеенко, но как ни ожиданны были всякие дурные известия, те, которые он привез, больно поразили меня. Жду, что будет от семейного обсуждения — думаю, хорошее. Во всяком случае, однако, возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее — почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану. Что будет, то будет. Только бы как можно меньше согрешить. Спасибо вам и за письмо ко мне, и за Сергеенко, и за письмо к Саше, про которое она мне говорила. Я не похвально своим и телесным, и душевным состоянием — и то, и другое слабое, подавленное. Жалко Сашу, жалко детей Сережу и Таню, жалко вас с Галей [жена Черткова] и больше всего ее самою. Только бы жалость эта была без примеси гансине [злопамятства]. И в этом не могу похвалиться. Ну, прощайте, спасибо за любовь, очень дорожу ею.

Л. Т.

«29. 2-й час дня».

Письмо публикуется впервые.

²⁹ Других писем Толстого от 29 октября, кроме писем к А. Л. Толстой, В. Г. Черткову и М. Н. Толстой, неизвестно.

³⁰ Рассказ А. П. Сергеенко о его посещении Толстого в Оптиной Пустыни был напечатан в альбоме Вл. Россинского «Последние дни Л. Н. Толстого», изд. Толстовского общества в Москве, 1911.

³¹ Сотрудник «Нового Времени» Ал. Ксюнин напечатал в этой газете ряд очерков под заглавием «Уход Толстого», изданных в 1911 г. А. С. Сувориным, отдельной книгой под тем же заглавием. XVII глава этой книги (стр. 72—77) посвящена пребыванию Толстого в Оптиной Пустыни. Здесь воспроизведен разговор Толстого с гостиником, монахом Михаилом (а не Василием, как записано у Маковицкого); разговоров же с монахом Пахомом у Ксюнина не записано.

³² Кочеты — имение мужа старшей дочери Толстого Татьяны Львовны, Михаила Сергеевича Сухотина, в Новосильском уезде, Тульской губернии. Толстой гостил здесь с 15 августа по 22 сентября 1910 г.

³³ На этих словах рукопись Д. П. Маковицкого обрывается.

Сноски

Сноски к стр. 446

* Бирюков П. И., Биография Льва Николаевича Толстого, т. II, ГИЗ, М, 1923, стр. 144.

** «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928, стр. 130.

Сноски к стр. 447

* Никиторов Л. П., Воспоминания о Л. Н. Толстом — «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». Собрал и редактировал Н. Н. Гусев. ГИЗ, 1928, стр. 225.

Сноски к стр. 448

* См. «Дневник Льва Николаевича Толстого», I, М., 1916, стр. 231.

Сноски к стр. 452

* Пропуск в подлиннике. Ред.

** Пропуск в подлиннике. Ред.

*** Исполнено Д. М.

Сноски к стр. 454

* Так в подлиннике. Ред.

Сноски к стр. 455

* Пропуск в оригинале. Ред.

Сноски к стр. 456

* Она и напечатала, кажется, в «Голосе Москвы». (Мне не пришлось читать). (В середине октября «Голос Москвы»)¹⁵. Д. М.

Сноски к стр. 457

* Почему в России заведены железные края у дверей в железнодорожных постройках и вагонах? Кажется, в Европе нигде этого нет. Так же страшно хлопает дверь в Козловке. Вздрагиваешь каждый раз; разговор, сон обрываются. Сколько страдает от них людей. Что было тяжело Льву Николаевичу, то и всем. Следует обратить на это внимание железнодорожного департамента: перестать в новых постройках и вагонах вводить эти железные края у дверей. Кроме того, ими можно ударить и ранить руки. **Д. М.**

Сноски к стр. 458

* Пропуск в оригинале. Ред.

Сноски к стр. 459

* Разговор Льва Николаевича с Сергеенко и вообще этот день подробно описан Ал. Петр. Сергеенко³⁰. Д. М.

** Встреча Льва Николаевича с о. Пахомом и с о. Василием описана Ксюниным в «Новом времени»³¹. Д. М.

Сноски к стр. 460

* Летом в Кочетах³², услышав о старце Херувиме в Духовом монастыре, который пользуется у народа славой, Лев Николаевич намеревался съездить к нему. Д. М.